

там, любому печатному листку, но никто из них не хочет, содрогаясь, оставаться в полной наготе во вселенной. Они мечтают о том, что в состоянии дать им только поэт, который полами своего одеяния прикроет их наготу. Ибо быть поэтом, как писал где-то в своих дневниках Геббель, быть поэтом — значит окутывать и согревать себя миром, словно плащом. Вот эту-то теплоту им и хочется разделить. Крохи поэзии — вот за чем они гонятся, полагая, что поклоняются науке. Им хочется мыслить чувствуя и чувствовать мысля, приобщиться к тому, что наука в своем грандиозном отречении считает неподдающимся приобщению. Они ищут поэта, но не называют его.

Стало быть, поэт есть там, где его как будто нет. Он всегда не там, где его предполагают найти. Чудна его обитель в чертогах времени: под лестницей, где все спешат мимо, не замечая его. Разве не напоминает он князя-пилигрима из древней легенды, которому Всевышний повелел покинуть свой знатный дом, жену, детей и отправиться в Святую землю? Он вернулся на родину, но, прежде чем успел переступить порог, повелевается ему свыше войти в свой родной дом нищим незнакомцем и поселиться в нем, где укажет челядь. Челядь указала ему закуток под лестницей, где обычно ночуют псы. Стал он там жить. Мимо по лестнице снуют его жена, братья и дети. Он слышит, как они говорят о нем, считая его пропавшим без вести, даже погибшим, и носят по нему траур. Но ему заказано выдавать себя. Так и живет он неузнанным, ютясь под лестницей отчего дома.

Жить неузнанным в своем доме, под лестницей, в темноте, вместе с дворовыми псами, чужим в родном доме, когда все считают тебя умершим, говорят как о призраке, оплакивают тебя с любовью и благоговением! Быть живым — и отвергнутым последней девкой-прислужницей, быть живым — и ютиться вместе с псами! Нет у него в этом доме ни должности, ни службы, ни прав, ни обязанностей, разве только слоняться без дела да полеживать на боку, взвешивая все это про себя на незримых весах, взвешивая непрерывно, денно и ночью, испытывая неслыханное страдание и

неслыханную усладу оттого, что обладаешь всем этим, как не обладал своим домом ни один хозяин. Разве доводилось кому обладать мраком, стелющимся ночью по лестнице, наглостью повара, надменностью конюшего, вздохами самой последней служанки? А он, распластавшись в темноте, словно призрак, обладает всем этим сполна, ибо все это раздирает ему душу, как открытая рана, то и дело вспыхивая карбункулом на его небесном облачении. Жить неузнанным — это всего лишь сравнение, сравнение, пришедшее мне на ум, когда я недавно прочитал эту легенду в старой книге «Деяния римлян». Мне кажется, она помогла перейти к разговору о том, что не менее фантастично, но все же вполне относится к тому, что мы устаиваем называть действительностью, современностью, — к разговору о том, каким мне видится обитание поэта в чертогах нынешнего времени, как я ощущаю его житье-бытье в этой действительности, в этой современности, в которой нам с вами дано жить.

Он здесь, но до него никому нет дела. Он здесь и, бесшумно меняя место, только смотрит да слушает, принимая окраску вещей, на которые обращено его внимание. Он — созерцатель, нет, скорее, товарищ-невидимка, безмолвный брат всех вещей, и сменой своей окраски он причиняет себе внутреннюю боль, ибо все вещи доставляют ему страдание, но, страдая из-за них, он наслаждается ими. Наслаждаться страдая — таков весь смысл его жизни. Он страдает оттого, что так сильно чувствует их. Каждая вещь в отдельности и все вместе причиняют ему одинаковое страдание. Он страдает от их разобщенности, страдает от их взаимосвязанности. Бесценное и лишенное всякой ценности, возвышенное и пошлое, обстоятельства и мысли причиняют ему страдание. Даже просто игра воображения, фантомы, бесплотные порождения времени доставляют ему страдание, словно они — люди. Ведь для него все едино: будь то человек или вещь, мысль или мечтание. Ему ведомы лишь явления, возникающие перед ним и доставляющие ему счастье страдания. Он видит, чувствует. В его познании преобладает чувство, а в чувстве — зоркость познания. Он не вправе что-либо упустить. Он не смеет закрывать глаза на живое существо, вещь,

фантом, на самое абсурдное порождение человеческой мысли. Его глаза словно лишены век. Он не вправе отвести ни одной охватившей его мысли, словно он рожден в ином измерении, ведь в его измерении должно найтись место для всякой вещи. В нем средоточие всего, чему суждено и хочется туда попасть. Ведь он — тот, кто связует в себе частицы времени. Ведь настоящее — оно либо в нем, либо нигде.

Но ткань пронизана еще более тонкими нитями. Пусть они недоступны взору других, его око не смеет не замечать их. Для него настоящее невообразимым образом перемежается с прошлым: всеми фибрами своего существа он чувствует переживания минувших дней, отцов и прадедов, далеких и неведомых ему, исчезнувших с лица земли народов, канувших в Лету эпох. Его взору, минуя всех прочих, открывается — разве он посмеет заслониться? — живой огонь светил, давным-давно поглощенных ледяной бесконечностью. Есть только один закон, которому он подчиняется: не закрывать ни одной вещи доступ в свою душу. И живой, простирающийся к нему руки человек столь же близок ему, как мерцающий звездный луч, посланный из неведомого мира три тысячелетия тому назад и достигший его взора сегодня; в нем звучат отголоски древних, вряд ли теперь кому доступных ощущений. Подобно тому как исконнейшая потребность людей создает вокруг них пространство, и время, и мир вещей, он создает мир взаимосвязей из прошлого и настоящего, из зверя и человека, из воображения и вещи, из большого и малого, из возвышенного и ничтожного.

Он созидает. Глухая боль, ущербные судьбы могут надолго запасть ему в душу, насквозь пропитав ее страданием. Но в иной миг в его распахнутой душе отражается усеянный звездами небосклон. Он любит страдание, но любит и счастье. Его повергают в восторг большие города, но восхищает и одиночество. Он — страстный почитатель вещей, отмеченных печатью вечности, но вместе с тем преклоняется перед сегодняшними. Лондон в тумане с призрачными вереницами безработных, руины Луксорского храма, журчанье одинокого родника в лесных дебрях, рев чудовищных машин — он без труда перекидывает мост от одного к другому,

предоставляя остальным, обделенным фантазией, изумляться каждой вещи в отдельности. Ибо он изумляется всегда, однако ничто не застанет его врасплох, для него нет ничего совершенно неожиданного. Все словно было и есть испокон веков, причем одновременно. Нет вещи, без которой он смог бы обойтись, но, собственно, и терять ему нечего — даже смерть ничего не может у него отнять. Мертвые для него воскресают, не по его воле, а когда захотят сами, и тем не менее они для него воскресают. Его воображение — единственное место, где всего лишь на миг им дозволено восстать из мертвых. Им, прозябающим, наверное, в обители леденящего одиночества, выпадает беспредельное счастье приобщиться к жизни, ко всему что ни на есть живому.

Мертвые живут в нем, ибо его страсть восхищаться, изумляться, постигать не останавливает уход в мир иной. Он не в состоянии придать полному забвению то, что когда-либо услышал, что запало ему в душу, — будь то слово, имя, намек, исторический анекдот, образ или тень. Нигде — ни в мироздании, ни между мирами — для него нет запретных путей. Коль скоро его коснулось дыхание чего-то, пусть даже потустороннего, он тотчас вступает в немое соперничество за обладание этим «нечто». Для него естественно любить Мирабо за честность, Фридриха II — за величавое одиночество, Уоррена Гастингса — за отвагу, принца Линьонского — за учтивость, Марио-Антуанетту — за эшафот, святого Себастьяна — за стрелы. Кроме того, его фантазия устремляется вслед каждому сомнительному авантюристу, упоминавшемуся в газетном листке, — из-за его похождения, за богачом — из-за богатства, за бедняком — из-за бедности. Каждому сословию хочется обрести своего Пиндара, а он у него уже есть. Стоит поэту пройти мимо дома гончара или башмачника и заглянуть в окно, как он тотчас до того влюбится и в гончарное, и в башмачное ремесло, что не смог бы оторваться от окна, если бы не желание увидеть охотника, рыбака, мясника. В газетах или беседах порой раздаются жалобы, что современные поэты не изображают того, что единственно достойно изображения, например, индустрию либо нечто вроде нее. Да как только там, на заводах, жизнь начнет обретать

собственные формы, новый ритм особого общения или разобщения человека, как только на этих заводах отдельные люди или множество людей сразу вступят в особые отношения с природой, предстанут в особом свете и бесконечная символичность материи окутает людей новыми, неожиданными отблесками и тенями, как поэты немедля кинутся на эту новую вещь, на эту новую плоть вещей, влекомые глубочайшей страстью отводить каждой новой вещи место в том целом, что они носят в себе, кинутся, влекомые необузданной страстью устанавливать взаимосвязь между всем сущим. Ведь они — такие заклинатели теней, которые ни в чем не знают меры. Для своих героев им уже недостаточно Александра или Цезаря, новой Элоизы или Вертера, нет: их обострившемуся восприятию подавай теперь самое невзрачное прозябание, самые скромные обстоятельства. Они там, где в чем-то, почти бесплотном, едва теплится огонек самобытной жизни, невиданной страсти, чтобы соткать из этой эфемерности и заволакивающей ее дымки призрачное бытие.

Поэт не может пройти мимо самой что ни на есть неприметной вещи. Горстка фактов или мириады фактов самого разного порядка всегда каким-то образом присутствуют для него, стоят где-то в темноте и ждут своего часа. И у него всегда доходит до них очередь: будь то морфий в сегодняшнем мире или Афины, Рим, Карфаген в мирах ушедших, будь то рынки, на которых торговали и торгуют людьми, будь то существование ультрафиолетовых лучей или скелеты допотопных животных. Он живет, причем всегда, под давлением неизмеримых атмосфер, как ныряльщик в глубинах моря. Выдерживать подобную тяжесть позволяет ему лишь необычайное устройство души. Ему не дано отвернуться от чего-либо. Он — то место, где силам времени нужно уравнивать друг друга. Он подобен сейсмографу, улавливающему вибрацию любого сотрясения, произойди оно даже на расстоянии тысячи миль. Не то чтобы он непрестанно помнил обо всех вещах в мире, это они помнят о нем. Они вселились в него, завладели им. Его мрачные состояния, его депрессии, его смятенные чувства — не субъективны, нет, они похожи на колебания сейсмографа. И

достало бы одного, но достаточно проникновенного взгляда, чтобы прочесть в них нечто более таинственное, чем в его стихах. Его боль — это внутренние сочетания, очертания вещей в нем, которые он не в силах расшифровать. Его непрестанная деятельность — это поиск гармонии в себе, приведение в состояние гармонии того внутреннего мира, который он в себе носит. Стоит ему в свои звездные часы создать нечто, как его творение обретает гармонию.

А вы хотите наслаждаться гармонией. Порой вам, вероятно, кажется, что современные поэты не способны создавать ее. Я толкую вам, что поэты сводят все вещи воедино, очищают эпоху от подспудной боли, придают всему звучание — а звучание обретает гармонию. И все же... Сколько книг вами уже прочитано! В них были стихи, поэтическая материя, но — ровным счетом ничего подобного этой высшей магии. Вы хотели бежать из расколотого мира, а нашли опять осколки. Вам обнажили все элементы бытия: механизм работы духа, физические состояния, двусмысленные отношения экзистенции — все свалено в одну кучу, словно материал, приготовленный для строительства дома. В этих книгах вы обнаружили то же разъединение на атомы, расчленение человеческого на его составные части, разложение того, что, будучи собрано вместе, составляет наивысшее из творений — человека. А вам так хотелось заглянуть в волшебное зеркало, чтобы увидеть там хаос упорядоченным, мертвое — живым, тленное — вечно цветущим. Да, во всех этих попытках вы вполне ощущаете поэзию, но разве это, сомневаетесь вы, удостоверяет принадлежность к поэтическому сословию?

Не исходит ли от этих поэтических душ больше лихорадочного беспокойства, чем успокоения? Не являются ли они высокочувствительными органами этого громадного тела, благодаря которым лавина несурзных притязаний еще беспощадней превращает душу? Разве их взор не порождает повсюду фантомов, не одухотворяет даже распадающиеся части целого, вселяя смятение и жуть? Читая написанное, вы все громче, все нетерпеливее задаете